Рассказы и повести

Автор:
Антон Чехов

Рассказы и повести

Антон Павлович Чехов

Школьная библиотека (Детская литература)

В книгу вошли избранные произведения классика русской литературы А. П. Чехова. Для старшего школьного возраста.

Антон Павлович Чехов

Рассказы и повести

«Жизнь такая, какая она есть…»

Слова и понятия

«…Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе»… Это Пушкин – о Грибоедове. «Никто не хочет любить и нас, обыкновенных людей»… А это Чехов – из письма.

Читая корректуру «Попрыгуньи», Чехов убрал из текста несколько строк про Ольгу Ивановну: «Ей казалось, что если бы она увидела настоящего великого человека, например Пушкина или Глинку, то она умерла бы от наслаждения…» Но скорей всего, она не узнала бы ни Пушкина, ни Глинку, если бы не знала, что это – Пушкин и Глинка. Она «прозевала» бы их, как «прозевала» Дымова, собственного мужа.

Попрыгунью Ольгу Ивановну, воодушевленную охотницу за «великими людьми», смущает имя единственного действительно великого человека, дарованного ей судьбой. Имя Дымова – Осип – не нравится ей, потому что напоминает гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип».

Для «Попрыгуньи» Чехов вначале придумывал другие названия: «Обыватели», «Великий человек». В том-то и дело, что обыватели не способны угадать, распознать подлинно великого человека: над ними властвует могущество всеми признанного имени.

«Милый мой метрдотель», – говорит Ольга Ивановна о муже, замечательном ученом и враче, и, чтобы придать ему веса в своем мире – мирке, где внешнее, «имя», властвует над сущностью, – тотчас обнаруживает в нем сходство с бенгальским тигром. «Казалось, – читаем о Дымове, – что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола». Вот мелькнул подле Ольги Ивановны опекаемый ею ничем не примечательный телеграфист Чикельдеев – и уже является в нем «что-то сильное, медвежье… Можно с него молодого варяга писать».

В мирке Ольги Ивановны все на кого-то похожи – никто не сам по себе. «Все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне, – говорит она про задуманный праздник. – …Во вкусе французских экспрессионистов…»

Дымов и друг его Коростелев ведут при Ольге Ивановне медицинский разговор, чтобы дать ей возможность молчать, то есть не лгать. Но она лжет не только потому, что обманывает мужа, изменяет ему. Она живет в искаженном, перевернутом мире, не в силах отличить верх от низа, добро от зла, правду от неправды. Она говорит Осипу Ивановичу: «Дай я пожму твою честную руку!» Рука у Дымова в самом деле ч е с т н а я, но Попрыгунья лжет – не по злому умыслу, по привычке, ставшей натурой, произносить не наполненные содержанием, не соотносимые с истиной слова. Ее слова такой же фальшивый

хлам, как китайские зонты, мольберты, разноцветные тряпочки, кинжалы, бюстики и фотографии, которыми уставлена ее гостиная, как лапти, серпы, лубочные картинки, благодаря которым столовая должна стать комнатой «в русском вкусе».

«…Держитесь слов». – «Да, но словам ведь соответствуют понятья», – читаем у Гёте в «Фаусте». В мире, где обитает Попрыгунья, понятия словам не соответствуют.

«Я устал», – томно улыбается художник Рябовский, лунной ночью на палубе парохода добиваясь любви Ольги Ивановны. «Я устал», – томно повторяет он, когда возлюбленная ему наскучила. Усталого Дымова, не сознавая колоссальности его трудов, Ольга Ивановна отправляет с дачи в город за розовым платьем и перчатками. Рябовский подбирает фальшивые, путаные слова, вынося (точнее – скрывая) свой приговор ничтожным созданиям Попрыгуньиной кисти: «Передний план как-то сжеван…», «избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит…»; но (замечает Чехов) чем непонятнее он говорит, тем легче Ольга Ивановна его понимает.

Понятными, неуютными словами доктор Коростелев говорит Попрыгунье об умирающем великом человеке Осипе Дымове. В речи Коростелева то и дело проскакивает словцо «в сущности»: он стремится выразить сущность явления, говорит именно то, чего сторонится Ольга Ивановна. Коростелев говорит о даровании, о нравственной силе, о самопожертвовании, о потере для науки; а бедная Попрыгунья и перед лицом смерти не в силах выбраться из водоворота привычных слов-безделушек. Останься Дымов жить, она будет благоговеть перед ним, молиться, испытывать священный страх. Прозрение, может быть, и недалеко, из Зазеркалья трюмо уже заглянуло на Ольгу Ивановну «страшное и гадкое» ее отражение, но подлинные понятия забыты, и пришедшее на ум слово мигает, точно дразнит, такое же страшное и гадкое: «Прозевала! прозевала!»

Таня в «Черном монахе» не Попрыгунья, и старый Песоцкий, ее отец, не из компании Ольги Ивановны – известный российский садовод; и Коврин, герой рассказа, – способный молодой ученый, хоть и не великий человек, более того, по свидетельству самого писателя, страдающий манией величия. Но сейчас не об этом.

«Вы великий человек», – обращается Таня к Коврину, когда любовь их еще впереди. «Горжусь тобой», – вторит ей отец. Но Коврин «выздоравливает»,

делается «обыкновенным» – и: «Бог знает что ты говоришь!.. Даже слушать скучно», – вздыхает старый Песоцкий. И жена: «Это пытка… С самой зимы ни одной покойной минуты… Я страдаю…» (Уже – я!) Перед смертью Коврин получает письмо от Тани: «Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим…» Письмо недоброе и написано в недобрую минуту, тотчас после смерти отца, но важен не тон его, даже не соответствие подлинным чувствам Тани – важна идея, которая (сознает она это или нет) ею владеет.

«Если завтра мы в глазах добрых знакомых покажемся обыкновенными смертными, то нас перестанут любить…» – продолжает Чехов письмо про любовь к людям необыкновенным, про веру в славу, про власть имени.

Быть и казаться

«Скучную историю» Чехов намеревался назвать – «Мое имя и я». Повесть начинается с того, что Николай Степанович, заслуженный профессор, тайный советник и кавалер многих русских и иностранных орденов, признается читателям и еще больше – самому себе, что имя его счастливо, а сам он – нет.

На обед Николаю Степановичу подают суп-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почки в мадере. Генеральский чин и известность навсегда отняли у него любимые щи, пирог, гуся с яблоками и леща с кашей. За семейным столом кормят имя, а не человека, его носящего.

Мы часто вспоминаем слова Чехова: «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни…»

Дымов, улыбаясь, признается за обедом, что на вскрытии пальцы порезал, и это (страсть в работе) – предвестие его гибели (для нас, читателей, тотчас подкрепленное воспоминанием о смерти тургеневского Базарова). Учитель словесности Никитин, на которого проза Гоголя и Пушкина, читаемая на уроках, нагоняет дремоту, на перемене наслаждается завтраком в белой как снег салфеточке, присылаемым любимой супругой, – и это тоже предвестие его гибели – духовной.

Обедая в саду на ялтинской набережной, Гуров решает познакомиться с Анной Сергеевной, дамой с собачкой; он манит к себе шпица: «Можно дать ему кость?» Гуровым владеет мысль о скорой, мимолетной связи – он не ведает, что в эту минуту вся жизнь его переворачивается.

Женщины любили Гурова, но он всегда казался им не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, созданного их воображением. Да и был ли он, Гуров, до встречи с Анной Сергеевной самим собой? Филолог по образованию, он служит в банке, певец по призванию, проводит вечера за картами, по виду благопристойный семьянин, живет с нелюбимой женой и изменяет ей.

«Пусть каждый из нас припомнит, когда он начал казаться не тем, что он е с т ь… А когда мы вступили в борьбу с самими собою, – полагая, что мы все уже вступили, – то мы, наверно, казались давно не тем, чем были» (разрядка моя. – В. П). Это – Николай Иванович Пирогов, хирург, педагог, просветитель. Чехов знал и любил труды Пирогова, хлопотал об издании его сочинений. Статья Николая Ивановича называется – «Быть и казаться».

Во время первого свидания в Ялте, в номере Анны Сергеевны, Гуров скучает, слушая ее покаянные речи, и с удовольствием ест арбуз. Дома, в Москве, ему поначалу чудится, что все произошедшее на юге скоро исчезнет из памяти. Он охотно принимается жить обычной своей жизнью, снова жадно читает газеты, говоря, что не читает их из принципа, и (считает нужным отметить Чехов) уже может «съесть целую порцию селянки на сковородке…»

Но еще в Ялте Гурова, похоже, коснулось предчувствие, что привычная мимолетная связь удалась не вполне, иначе откуда это странное ощущение, когда расстался с Анной Сергеевной, будто только что проснулся; откуда это новое для него сожаление оттого, что казался ей не тем, кем был на самом деле, и потом, в Москве, вспоминая ее, почему сам казался себе лучше, чем был прежде?..

В последней главе Гуров снова в номере у Анны Сергеевны, женщина плачет, а он долго пьет чай, думает о своей любви, о том, что голова седая, и о том, как трудно найти решение и начать новую, прекрасную жизнь. Перед нами другой Гуров, преображенный. Казаться уступило место б ы т ь; и в мире вокруг все для него поменялось теперь местами: важное и незначительное, подлинное и ложное; то, что высилось данностью, оказалось миражем, пустой оболочкой, а

то, что представлялось мимолетным, частным, обернулось главным и необходимым, сделалось для Гурова зерном его жизни. По дороге к Анне Сергеевне он объясняет дочери, что на поверхности земли и в верхних слоях атмосферы – разная температура.

Опять же еще в Крыму, на горе у церкви, над морем набежало откровением: как прекрасен мир, когда мы не забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве, – набежало и забылось на званых московских обедах и юбилеях, в клубе за картами, за селянкой на сковородке. И лишь получив в ответ на томившее его желание поделиться с кем-нибудь воспоминаниями об Анне Сергеевне реплику про «осетрину с душком», Гуров с ужасом увидел свою бескрылую жизнь во всей ее безысходности: «Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми».

Чехов писал о страшной воспитательной роли мелочей. Мелочи воспитывают человека, то есть преобразуют, создают его нового. Не чудо – мелочь, «обыкновенность», вдруг обернувшаяся чем-то необыкновенно значительным, помогает человеку прозреть, по-новому увидеть мир, свою жизнь, судьбу.

«Вы не читали Лессинга!..» Эта фраза в рассказе про учителя словесности, вроде бы и необязательная (случайная, в чем-то даже и смешная реплика второстепенного лица), вдруг застревает в памяти героя, несколько раз по-разному повторяется им, пока наконец не оборачивается воплем отчаяния, тоской по загубленной жизни: «Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!»

Учитель словесности гонит прочь новые мысли: с их появлением неизбежно начинается «новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем», но невозможно, прозрев, заставить себя снова не видеть. Не видеть торжествующей вокруг пошлости, кристаллизованной в суждениях его нежно любимой супруги Манюси, не видеть пошлости, восторжествовавшей в нем самом, учителе словесности, радостно принимавшем до поры эти суждения, как радостно принимал доставшийся в приданое дом и уютный диван в кабинете, на котором так сладко потягиваться, развалясь, как принимал в приданое же доставшиеся тысячи и какую-то Мелитоновскую пустошь со сторожкой, – принимал и еще убеждал себя, что он творец своего счастья.

Прозрение наступает не в ту минуту, когда учитель словесности сознаёт, что Пушкин и Гоголь ему скучны, и не в ту, когда не сказал на могиле товарища,

Ипполита Ипполитовича, теплое слово, потому что это могло не понравиться директору, и не в ту даже, когда приходит в голову, что деньги, проигранные в карты, достались ему даром, а большинство людей вокруг угнетено заботой о куске хлеба, – прозрение настигает его с нравоучением Манюси: «Если не намерен жениться, то не ходи» (в дом, где есть девицы), хотя вряд ли не случалось учителю словесности и прежде слышать от своей супруги нечто подобное. Но тут настигает его эта воспитующая мысль: никакой он не творец своего счастья, просто живет и поступает по заведенным пошлым правилам, и это куда пошлее, стыднее, губительнее, нежели истертые до бессмыслицы фразы бедного Ипполита Ипполитовича: «А лето не то что зима» и т. п.

«Скучная история», рассказанная самим героем, напряженно стремится к горестному выводу: люди ждут и вправе ждать от него, Николая Степановича, больше, чем он им дает, и сам он желал бы давать им больше, чем умеет.

«Что это значит?» – задается вопросом профессор Николай Степанович. Откуда эти новые мысли и новые чувства, сделавшие привычную, накатанную, как колея, жизнь нервной, сознательной, беспокойной? «У вас открылись глаза», – отвечает ему Катя.

Но прозрение (рассказы о нем находим и в евангельских притчах) не только чудо избавления от слепоты – это приобщение к новой вере. Профессор Николай Степанович трудами на благо человечества заслужил свое громкое имя, но, подводя итоги, прозрев, он открывает счет не обретениям, а утратам, тому, что не умел, не захотел, оказался не в силах понять, почувствовать, сделать в прожитой жизни.

«У меня открылись глаза, я теперь все вижу», – говорит Надя в «Невесте», устремляясь в будущее, неведомое, но необходимое. Она видит пошлость города, дома, семейства, заранее подготовленной спальни с большими кроватями, картины, купленной женихом, – нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

Открылись глаза и у доктора Рагина, когда сам он оказался заперт в палате № 6. Как удобно было убеждать себя и других, что между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы. Теперь он в отчаянии хватается за оконную решетку и трясет ее, как бы желая сломать железо.

И разве не прозрел доктор Старцев, Ионыч, когда, оглядевшись, увидел вокруг бездарных обывателей, неспособных понять и принять даже самые простые истины. Другое дело, что новое быть доктора Старцева превращается в казаться человеком. Все человеческое ему теперь чуждо: утрачена потребность любви, добра, участия, простого общения; ничто Ионыча не интересует; опухло лицо, и глаза застланы жиром; голос стал резким и неприятным; любимое занятие – «вынимать из карманов бумажки, добытые практикой». Отстраняясь от обывательской пошлости, Ионыч противополагает ей ту же пошлость, доведенную до всепоглощающей страсти (несколько строк о взятых у больных деньгах зовут нас вспомнить пушкинского Скупого рыцаря, перебирающего свои сокровища), пошлость, уничтожившую в нем человека, – обожествленную. Вот он, «пухлый, красный», едет на своей тройке, и «кажется, что едет не человек, а языческий бог».

Общая идея

Примечательно, что в конце рассказа Ионыч покупает дома. Образ дома нередко появляется в чеховских рассказах: дом с мезонином, и дом Душечки недалеко от городского сада, откуда по ночам доносится музыка; и дом Песоцких в «Черном монахе», с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, с цветниками и знаменитым фруктовым садом; дом Шелестова в «Учителе словесности» и дом, который достается в приданое самому учителю словесности, двухэтажный, нештукатуренный и такой же двухэтажный дом, нанятый для молодых, для Нади и ее жениха, в «Невесте».

Знаменитые слова о том, что «человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа», находим в рассказе «Крыжовник», втором по порядку в известной трилогии – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».

В трилогию, в целое рассказы объединяют не только общие герои, но и тема обособленности, замкнутости человека, в просторном мире выбирающего «три аршина»: дом, усадьбу – «футляр». В последнем рассказе трилогии – «О любви» – Алехин, человек, способный многое сделать на свете, вертится как белка в колесе в своем имении. Мир просторен, а человек, наделенный свободным

духом, замкнут в четырех стенах. Он слышит голос свободного духа лишь в минуту прощания с любимой женщиной – любовь погублена, женщина уезжает навсегда. Алехин провожает ее до первой станции: она в своем купе, он – в своем. Вот и Гуров с Анной Сергеевной – две перелетные птицы, живущие в отдельных клетках.

Купе, клетки… Люди на земном шаре разъединены. Против дома Анны Сергеевны – Гуров видит – тянется длинный серый забор с гвоздями. И флигель, где палата № 6, отделен от поля серым забором с гвоздями.

Неодолимые заборы разделяют людей, и не только людей, далеких по образу жизни, убеждениям, поступкам, но и духовно близких, тянущихся друг к другу. Заключительная глава «Скучной истории»: в последний раз встречаются профессор Николай Степанович и Катя – два самых близких на земле человека, каждый говорит о своем, – и оба не слышат друг друга.

Николай Степанович, заслуженный профессор, член всех русских и трех заграничных университетов, в чужом городе, куда попал против воли, сидит одиноко, замкнутый в маленьком гостиничном номере, на кровати, покрытой серым одеялом, и подводит итоги жизни. Люди разобщены, но и сам человек не целостен.

«Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком…» Вот тут-то и появляется это признание, что нет в нем «того, что называется общей идеей или богом живого человека».

В трудах о творчестве Чехова герою «Скучной истории» нередко достается – за это отсутствие общей идеи, цельного мировоззрения. Приводятся слова писателя о своем замысле: «Осмысленная жизнь без определенного мировоззрения – не жизнь, а тягота, ужас». Но, говоря об ужасе такой жизни, Чехов и намеком не дает нам понять, что сам знает то, что недоступно его герою.

Приговор, который выносит себе Николай Степанович, самому Чехову знаком дословно. В его творчестве нет «одушевляющей общей идеи», «у него нет Бога в душе»… Это о нем, о Чехове, и не недруги пишут – люди, с которыми он близок, и как раз в пору работы над «Скучной историей». И сам он признаётся в эту же

пору: «Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет; я меняю его ежемесячно, а потому придется ограничиться только описанием, как мои герои любят, женятся, родят, умирают и как говорят». Немного задиристо: в том, как описана им жизнь человека, и являет себя мировоззрение писателя, – но признание дорого.

За несколько месяцев до того, как Чехов начал работать над «Скучной историей», увидели свет сочинения Н. И. Пирогова в двух томах (Антон Павлович очень ждал появления этой книги). Первый том пироговских сочинений составляет незавершенный (смерть помешала!) автобиографический труд «Вопросы жизни»; подзаголовок: «Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой». Пирогов работал над автобиографией на рубеже 1870—1880-х годов. Книга Пирогова, без сомнения, повлияла на замысел «Скучной истории» и его воплощение.

На первой же странице повести Николай Степанович называет Пирогова среди тех, кто дарил его дружбой. В произведении есть явные следы пристального чтения «Вопросов жизни». Но дело не в упоминании имени, не в следах. «Из записок старого человека» (как именует Чехов свою повесть) и «Дневник старого врача» роднит беспощадная откровенность, с которой автор говорит о себе («раскрытие правды внутренней перед самим собой», как провозглашает Николай Иванович Пирогов в полном согласии с Николаем Степановичем), мучительное стремление понять самого себя, отбросив «вилянье, нерешительность и неоткровенность».

80-е годы XIX века, часто (слишком часто!) определяемые поэтической строкой Блока – «В те годы дальние, глухие в сердцах царили сон и мгла», – время духовного перелома, духовных поисков, попыток понять круто меняющийся мир, время поисков мировоззрения (мировоззрений). Придавленная плотным слоем сонной мглы, мысль работает напряженно и мучительно, не прозревая светлое будущее, лишь надеясь на него. Чехов остро чувствовал, сознавал особость и вместе тяготу и ужас этого – своего – времени.

Он сравнивал писателей своего поколения с теми, «которых мы называем вечными», – у этих, вечных, «каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, вы кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть… А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше – ни тпрру ни ну». Можно не соглашаться с Чеховым, спорить с ним о собственном его

творчестве, но можно ли пренебречь его суждением?..

«…Пишем жизнь такою, какая она есть…» Но, говорил Чехов, «я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видели, не замечали, – ее отклонение от нормы, ее противоречия». Помочь людям увидеть то, чего не замечали прежде, прозреть, – как тут без мировоззрения!.. Другое дело, что ни в одном произведении оно не выливается проповедью, да, наверно, и не могло бы вылиться. Чехов пишет про «Скучную историю», что в ней «целых пятнадцать» настроений!.. Проповедь противоречит самим началам чеховского дарования, его творческому «я», невозможна для него (его выражение) «по условиям техники». Целое, общее мировоззрение – не проповедь, а воздух чеховских рассказов.

«Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индиферентист. Я хотел бы быть свободным художником…» В нынешнем смысле «свободный художник» – человек, ни с чем не связанный. Но у Чехова, похоже, первоначальный смысл: связанный со свободой, свободная личность.

Главное – абсолютная свобода от насилия и лжи. «Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником». Этой программы – общей идеи – он постоянно держался.

В письме Антона Павловича к брату Александру, тоже литератору, находим строки о свежих людях, дерзающих называть чепуху чепухой. «„Мне не нравится!“» – этого уже достаточно, чтобы заявить о своей самостоятельности, а стало быть, и полезности».

О самостоятельности много размышляет и говорит Николай Степанович в «Скучной истории»: «Отчего вы не хотите быть самостоятельными? – гневно вопрошает он докторанта. – Отчего вам так противна свобода?»

Николай Степанович вправе гневаться на докторанта, жаждущего сочинить диссертацию на чужую тему и под чужим руководством, – для него, великого ученого, независимая мысль всего дороже в научном исследовании, но. Но собственное признание, что судьба костного мозга интересует его больше, чем конечная цель мироздания, – признание, конечно, задорное, вызывающее, нарочито преувеличенное, но отчего-то необходимое ему при подведении итогов, – по-своему равносильно признанию в несамостоятельности и несвободе.

Дать независимой мысли свободу в пределах судеб костного мозга – не значит ли запереть ее в клетку, в купе, в футляр?.. Чехов убежден, что каждому человеку необходим «хоть кусочек общественной и политической жизни».

Николай Степанович – человек необыкновенный, «редкий экземпляр», говорит о нем Катя («нет такого актера, который сумел бы сыграть вас»), но и он обретает самостоятельность, становится свободным, лишь прозрев, когда повсюду начинает замечать то, чего не замечал прежде, – отклонение жизни от нормы в большом и малом, когда жизнь, которой сам жил и живут окружающие, видится ему «чепухой», когда все в себе, вокруг зовет произнести в ответ дерзкое: «Мне не нравится!»

Признак живой души

Чехов писал, что в «Скучной истории» хотел изобразить заколдованный круг, в котором человек настолько привыкает казаться, что, в сущности, теряет себя, перестает быть.

«Я сознаю, что условия жизни и воспитание заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи», – читаем исповедь героя в рассказе «Страх».

Доктор Рагин трижды подряд вспоминает про «заколдованный круг». Это и жизнь вообще, и город (у Чехова город – образ повторяемый и очень существенный: город-мир), и палата № 6, куда запирают человека, осознавшего, что он оказался в заколдованном круге. Вырваться из этого круга, попытаться «повернуть жизнь», в которой отступления от нормы прочно стали нормой, мучительно трудно, чаще всего – невозможно. «Да и не смешно ли помышлять о справедливости, – читаем в «Палате № 6», – когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства».

Как вырваться из заколдованного круга? Над этим бьются профессор Николай Степанович и Катя, Гуров, и учитель словесности, и магистр философии Коврин в «Черном монахе», об этом спорят доктор Рагин и сумасшедший Громов, художник и Лида Волчанинова в «Доме с мезонином».

«Что мне делать?», «Что же мне делать?», «Что же я могу сделать?» – один и тот же безответный вопрос тут, там многократно повторяется в тексте «Скучной истории».

«Что же я могу сделать?», «Ничего я не могу», «По совести… не знаю…» – безнадежным признанием отвечает на жгучий вопрос профессор Николай Степанович.

Не знает. Лгать не хочет. Утешать не умеет. «Что ответить ей? – думает он. – Легко сказать „трудись“, или „раздай свое имущество бедным“, или „познай самого себя“, и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить».

Чехов писал: прежде чем провозглашать «можно» и «должно», следует сказать о том, что есть и с чем нужно считаться. Общие идеи неприменимы к настоящему, в котором живут Чехов и его герои, – они расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве. «Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас», – замечает Чехов, говоря об уклонении нормы от жизни. Задача художника – правильно ставить вопросы, а не решать их. В «Крыжовнике» рассказчик, Иван Иванович, заканчивает свою историю на трагической тревожной ноте: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти…»

Люди живы, пока слышат или (прозрев) способны услышать этот молоточек, пока тревожат, терзают себя вопросом: «Что же мне делать?» Этот вопрос не знает полного ответа, но он – признак живой души. Без него движение жизни прекращается, перестает быть.

Движение жизни Ионыча замедляется, наконец вовсе останавливается по мере приобретения им лошадей; пространство его жизни сокращается по мере приобретения домов. История Ионыча завершается страшно: «Вот и все, что можно сказать про него». Человек исчерпал себя. Жизнь кончена.

«Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть», – упрекает себя в равнодушии Николай Степанович. Как горячо! Равнодушный человек не ведает таких мыслей, таких слов.

Николай Степанович корит себя за равнодушие к дочери: когда была ребенком, он по утрам целовал ей пальчики, теперь, правда, тоже целует, но при этом «я холоден, как мороженое, и мне стыдно». Ему стыдно! Какое неравнодушие! Равнодушным он был раньше, когда целовал, потому что так заведено, – теперь, прозрев, он не в силах не замечать фальшивого смеха дочери, ее манеры наигранно щурить глаза, ее безразличия к страданиям и тревогам отца, мещанства, внесенного в дом ее сватовством.

Иногда он сомневается: «Или раньше я был слеп и равнодушен?» Раньше!

Он корит себя за равнодушие к Кате, не в силах отозваться на ее: «Что мне делать?» Но равнодушным он был раньше, когда она делилась с ним своими страданиями, и он писал в ответ длинные, скучные письма, которых мог бы не писать, когда казался знающим, что делать, а не теперь… Растерянный, сконфуженный, он едва стоит на ногах: «По совести, Катя, не знаю…»

Объясняя характер своего героя, Чехов напоминает, что он «слишком беспечно» относится к внутренней жизни окружающих, не замечает, что около него плачут, ошибаются, лгут.

Повесть завершается воплем, которого никак не ждешь, читая начальные ее строки: «Прощай, мое сокровище!» Это он – Кате, и о Кате, и о том нерастраченном душевном сокровище вообще, без которого жизнь неполна, и вообще о прожитой жизни, вдруг открывшейся ему зияющими пустотами.

Новые мысли – прозрение – рождают новые чувства. Прежде человек в себе их не замечал, не умел или не хотел замечать.

Николай Степанович горько сетует, что в последние месяцы приучился мириться с медленностию времени: раньше четверть часа, не заполненная делом, казалась ему вечностью, теперь он может в спокойной недвижности просидеть целую ночь. Но и это не равнодушие, как ему представляется, – время наполнилось мыслями и чувствами, которых он раньше не знал. Быстрые полгода, оставшиеся ему до смерти, гораздо дольше долгих лет его жизни, без

труда укладывающихся в один «типовой» день, – описанием такого дня открывается повесть.

Несколько часов, которые Гуров и Анна Сергеевна проводят вместе, гораздо дольше тех месяцев, пока они ждут свидания. В эти месяцы ненастоящей жизни время для них останавливается – его как бы нет.

Отказавшись от любви, Алехин крутится как белка в колесе в своем имении. Но «белка в колесе» – видимость движения.

И те несколько минут, когда Никитин, учитель словесности, покинув супружескую постель, «пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре» и понял, «что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно», – эти несколько минут намного дольше года, прожитого им в остановившемся времени.

Замечательно зримо открывается время невесте Наде «Невеста»). Жизнь после свадьбы представляется ей одним остановившимся днем (без перемены, без конца), в котором стучат ножи на кухне, хлопают двери, пахнет жареной индейкой и маринованными вишнями. Но вот она садится в поезд, чтобы навсегда порвать с этой предназначавшейся ей жизнью, и прошлое (казалось – большое) сжимается в комочек, громадное будущее разворачивается впереди – и за окном вагона мелькают телеграфные столбы и птицы на проволоках…

Огонь блюсти

Бесчисленные «Что мне делать?» задумавшихся людей, жаждущих вырваться из заколдованного круга, сливаются в общее: «Так что же нам делать?» Эти слова Лев Николаевич Толстой поставил названием своего знаменитого трактата, в них не только обещание ответа – не меньше острая, насущная необходимость вопроса.

Люди думают, рассуждают, спорят – как жить. В «Доме с мезонином» об этом спорят Лида Волчанинова и художник, рассказчик. Спорят жестоко,

непримиримо – и расстаются врагами.

На одной чаше весов – медицинский пункт в Малозёмове, на другой – убеждение, что надо рубить цепь великую, которой опутан народ. На одной чаше – уроки грамоты, книжки с наставлениями и прибаутками, на другой – призыв поделить между собой весь тяжелый труд, затрачиваемый человечеством, освободить работников для религии, наук, искусства. На одной – «мы делаем то, что мы можем», на другой – ничего не надо делать, поддерживая существующий порядок, «пусть земля провалится в тартарары!».

Спорят, оттого что не в силах и мысленно совместить настоящее и будущее, то, что очерчено кругом, и то, что где-то далеко за его пределами, действительность и мечту.

«Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…» – диктует Лида в конце рассказа. Полтора десятка строк – и четырежды этот «кусочек сыру»…

Немного же послано…

«Кусочек сыру» был еще в «Учителе словесности», тот, найденный в шкапу, завалящий, твердый, – Манюся о нем говорила с важностью: «Это съедят в кухне». Никитин замечает в ответ, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку.

Чехов признаётся однажды: душа рвется ввысь, вширь, а жизнь узенькая. «…Пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести – триста лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой… О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь!» Это Вершинин в «Трех сестрах». Тотчас следом – ремарка: «Смеется». И: «Простите, я опять зафилософствовался».

Художник в спорах с Лидой тоже зафилософствовался (только не смеется – раздражается): «Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей», «все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни».

Разве он не прав? Он прав.

Но на прошлой неделе умерла от родов Анна. С этим не поспоришь. И когда художник – про духовную деятельность, про искание правды (до которой еще далеко), про освобождение людей, эта умершая Анна – у нас в памяти, в сердце. И когда он: «Не то важно, что Анна умерла от родов», это «не то важно» как-то не совмещается с поисками правды и смысла жизни. Мы уже слышали что-то похожее от доктора Рагина в «Палате № 6» с его философией, что не следует мешать людям умирать или сходить с ума, которую сумасшедший Громов, его противник в спорах, именует «философией, самой подходящей для российского лежебоки».

«Нужно» освободить людей, облегчить их ярмо, рубить цепь – это те же «трудись», «раздай имущество бедным», которые не хочет выговорить вслух Николай Степанович, те же «можно» и «должно», которые (помним мысль Чехова) любят произносить вместо того, чтобы говорить о том, что существует в действительности, о том, что есть. А есть – это «на прошлой неделе умерла от родов Анна». И сколько ни рассуждай, что при существующем порядке работать не хочешь и не будешь, с этим что-то же делать надо. Вот и Лида в ответ на гневную речь художника: «Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь!»

Разве она не права? Она права.

(Спор – приглушенно, невыявленно, в ином ключе – звучал еще в «Черном монахе», созданном двумя годами раньше. Философствования Коврина, «служителя высшему началу», жаждущего «гигантского, необъятного, поражающего», как бы противостоят реальному, доброму делу садоводов Песоцких. Когда на деревьях появились во множестве гусеницы, Егор Семенович и Таня, к великому омерзению Коврина, давили их прямо пальцами. Но вспомним слова Тани, обращенные к Коврину: «Вся, вся наша жизнь ушла в сад… Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь… Когда вы, бывало, приезжали к нам… в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали». И признание старого Песоцкого тоже дорогого стоит: «Сад, действительно, прекрасный, образцовый… Но к чему? Какая цель?»)

Непримиримость спора художника и Лиды – это обозначение полюсов, куда устремлены духовные искания современников. Не так ли непримиримы истины, которые каждый из спорящих упрямо отстаивает?

Поселившись в Мелихове, Антон Павлович Чехов открывает школы и медицинские пункты, проверяет санитарное состояние фабрик, строит холерные

бараки, принимает больных (в 1892-м, например, с августа по 15 октября, принял не менее тысячи), в письмах рассказывает про трудноизлечимые болезни, нехватку медицинской помощи, грязь, невежество – и обрывает себя с усмешкой: «Сладкие звуки и поэзия, где вы?»

От него не услышишь: «Не то важно, что Анна умерла», хотя не хуже художника, спорящего с Лидой, – во сто крат лучше его! – знает, как важно, как страшно, что «всем этим Аннам» некогда о душе подумать. Из Мелихова он пишет про бедность и некультурность народа, народ для Чехова не «все эти Анны, Мавры, Пелагеи», а знакомый старик, у которого мигрени продолжаются дня по четыре, баба Авдотья, которую он лечит салициловым натром и йодистым калием.

Он не махнет рукой на жизнь, какая есть, оттого, что очень уж далека от жизни, какая должна быть. «Спрашиваю себя: не удрать ли? Но нет. Холера идет с двух сторон».

Над своими трудами он посмеивается: «А мне хочется цивилизации: купить себе новое платье, поехать в 1 классе и поговорить не о холере». Это – чтобы не «расфилософствоваться».

Но среди повседневных утомительных забот о холерных бараках, медицинских пунктах, школах, библиотеках он постоянно думает об этом прекрасном «через двести – триста лет»: «Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове… тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука».

Где бы он ни поселился, всюду поднимаются выращенные им сады, как поднимаются, живут сады во многих его рассказах; он любит сажать деревья. «…Мне нравилось и хотелось жить. Сколько я деревьев посадил!» (из письма). Дерево растет, живет долго, и двести лет, и триста, оно тянется лестницей из Сегодня в Завтра, мост из настоящего в будущее – «какая это будет жизнь, какая жизнь!».

«В человеке должно быть все прекрасно…» – знаменитые слова, неотвлеченное пожелание на будущее. Так же, как не менее знаменитые правила воспитанного человека, изложенные в письме к брату Николаю, или опять-таки не менее знаменитые строки об освобождении от духовного рабства («выдавливать из себя по капле раба»). Это – программа жизни на сегодня. Надо, по выражению

одного из толстовских героев, постоянно «огонь блюсти», сознавать, чувствовать, что несешь его в Завтра. «Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет…» – пишет Чехов убежденно и бесстрашно.

Нормальное состояние

«Дом с мезонином» – рассказ о любви. О любви погубленной – «Мисюсь, где ты?». Важный спор о том, так что же нам делать и как делать, – страница в короткой истории любви.

«Лучше не любить, чем любить деспотической любовью» – этот необыкновенно важный для Чехова вывод находим в письме, где речь идет опять же о том, как жить достойно, блюсти огонь. И следом: «Лучше быть жертвой, чем палачом».

Художник-рассказчик из «Дома с мезонином» признается, что помнит и любит все мелкие подробности того единственного дня, когда он непримиримо поспорил с одной сестрой и понял, что любит другую. Среди подробностей – первое появление Лиды: она стоит около крыльца с хлыстом в руках. Подробность не мелкая. (Как палка разбогатевшего Ионыча, которой он тычет в двери и стучит о пол.)

Может почудиться, что слово обронено – и забыто, но оно остается в нас, как бы растворяется в составе того настроения и отношения к происходящему, которое вызывает в нас рассказ, как растворяются в нем и описание волчаниновского дома, и ожесточенная борьба Лиды с каким-то Балагиным, который держит в руках весь уезд, и слова Лиды о князе, который кланяется матери, о чем Лида сообщает, снимая перчатки, и слова художника о том, что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

Но все эти подробности, и каждая из них, выявляются, обретают вес и новый смысл, когда рассказ дочитан до конца, до последней точки – до вопросительного этого знака в венчающем повествование возгласе, печальном и страстном: «Мисюсь, где ты?»

Прощальным возгласом заканчивается и спор с Лидой. Художник-рассказчик противополагал повседневной ее благотворительности отдаленные цели. Нам же теперь в ответ на слова Лиды про Анну, умершую от родов, вспоминаются не «все эти Анны», о которых горячо и сгоряча толкует художник, а Мисюсь, чью любовь, чью судьбу с беспощадной холодностью губит Лида. Поди поверь теперь в сострадание к Анне!

Известная мысль – все человечество любить легче, чем одного, отдельного человека – вначале вроде бы обернулась против художника; но дочитываем рассказ – и сознаём: предмет благотворительности Лиды – именно «все эти Анны», среди них и Анна, умершая от родов (веский повод для открытия медицинского пункта в Малозёмове). В любви к человеку отдельному Лида деспотична и жестока.

И еще. Оно, может быть, и мелочь, но мы-то уже знаем могущество мелочей и мелких подробностей. Среди упорно повторяемого «наша Лида замечательный человек» (поневоле вспоминается Попрыгуньино: «Ты, Дымов, умный, благородный человек… Дай я пожму твою честную руку!») мать Лиды вдруг горько: «Замуж нужно…»

Художник-рассказчик в «Доме с мезонином» потерял было охоту работать, пейзажист, он чувствовал себя безнадежно-одиноким и ненужным среди чудесной природы, но приходит любовь – и он будто заново видит деревья, поля, туман, зарю; он чувствует: талант заново пробуждается в нем; он страстно желает опять работать – писать для нее, для той, которую полюбил.

Среди заметок Чехова находим: «То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть».

Последняя главка «Дамы с собачкой» – рассказ о преображении человека любовью, о возвращении его в нормальное состояние. В городе С., в театре, где Гуров нашел Анну Сергеевну, они бегут прочь из зала, чтобы остаться вдвоем. Вокруг мелькают люди – все в мундирах и все со значками. Гуров и Анна Сергеевна – двое любящих – среди мундиров и значков, среди символов, опознавательных знаков, заменяющих сущность, – люди среди имен.

«Любовь изменила их обоих». Легкая насмешка и грубоватое высокомерие, с которыми Гуров прежде относился к женщинам, и к Анне Сергеевне тоже, уступили место желанию быть искренним, нежным, чувству глубокого страдания. Со-страдание, со-чувствие – в изначальном значении слова – умение страдать, чувствовать сообща с другим.

В рассказе «О любви» Алехин и другая Анна, Анна Алексеевна, борются со своей любовью, искренне опасаются, что не сумеют принести друг другу счастья. Чехов перечисляет его доводы и ее – всё серьезно, но всё – постороннее, ненужное. Вдруг приходит на память давняя «подруга жизни» Алехина, «милая дама», – о ней узнаём словно бы походя в самом начале рассказа: когда Алехин держал ее в объятиях, она думала, «почем теперь говядина за фунт». Лишь в последнюю минуту, прощаясь навсегда, Алехин понимает, как мелко и обманчиво было все, что мешало им любить друг друга: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Кто-то из критиков назвал Дымова в «Попрыгунье» – «слабый богатырь», имея в виду его любовь к Ольге Ивановне, такой любви недостойной. Но вряд ли в чем-нибудь больше проявляется богатырство Дымова, чем в этой его любви. Отношение Дымова к жене, исполненное самозабвенной жертвенности, не его унижает – ее, Попрыгунью.

Когда он произносит свое: «Пожалуйста, господа, закусить», или, усталый, возвращается в город с дачи за розовым платьем и перчатками, или, ни слова не спрашивая, как маленькую, усаживает и кормит изменившую ему и брошенную другим жену, он не жалок, потому что движет им не страх, не желание сберечь семью, не рассуждения о грехе и добродетели, о счастье и несчастье; им вообще не рассуждения движут, а то, что выше всяких рассуждений, – любовь!

Мы подчас чрезмерно усердствуем, посмеиваясь над Душечкой. Принято полагать, что ирония – от самого Чехова, пожелавшего-де показать человека, берущего напрокат свои суждения за неимением собственного. Упоминание образа Душечки в статьях политических утвердило за ним в нашем сознании отрицательный или, скажем мягче, однозначно комический смысл.

Замечательно, что в спор с Чеховым по поводу «Душечки» вступил Лев Николаевич Толстой, бесконечно этот рассказ любивший. Толстой вспоминает

библейскую историю про Валаама, который благословил тех, кого шел проклинать, потому что Бог вложил другие слова в уста его. Чехов, объясняет Лев Николаевич, хотел показать, какою не должна быть новая женщина, но, подобно Валааму, благословил то, что хотел проклинать. Поэт часто произносит не то, что задумал сказать, – творчество открывает ему иные, высшие истины. «Я, по крайней мере, – пишет Толстой, – несмотря на чудный, веселый комизм всего произведения, не могу без слёз читать некоторые места этого удивительного рассказа».

Чехов не любил толковать свои произведения. Отношение его к своим героям многозначно, как многозначны они сами; очень тонко, почти незаметно, но точно он умеет изменить нашу точку видения, показать нам разные черты одной натуры, разные грани одного явления.

Задумаемся, например, над тем, как при чтении «Черного монаха» меняется наше отношение к Коврину и Песоцким. Только что нестерпимой, немыслимой казалась болезненная самовлюбленность магистра рядом с трудовой жизнью Песоцких, но переворачиваем страницу – и эта размеренная, деловитая жизнь представляется вдруг пресной, скучной. Только что восторгались размахом замыслов Песоцкого, одного из лучших садоводов России, и вдруг – этот самолюбивый задор его статей, эта мелкая, торопливая походка, эта способность прервать серьезный разговор душераздирающим криком из-за привязанной к яблоне лошади.

А Ионыч и Туркины?.. В первых главах рассказа сколько иронии и в описании быта Туркиных, пошлости которого пока не сознает молодой, окрыленный надеждами доктор Старцев. А в конце, когда надутый, отяжелевший Ионыч все сознает и ни на что не надеется, сколько горькой, затаенной печали в описании все того же неизменного быта этих добрых, славных, не нашедших себя в жизни людей…

В «Душечке» есть, конечно, веселый комизм, отмеченный Толстым, но рядом – высокая, поэтическая песнь о любви, заставляющая Толстого лить слезы и вряд ли пропетая Чеховым против собственной воли.

Впрямь, наверно, весело читать, что, не имея около себя любимого человека, Ольга Семеновна, Душечка, ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. Но ведь это не только об отсутствии собственного мнения: без любви у Ольги Семеновны на душе и пусто, и нудно, и отдает полынью. «Ей бы

такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни…»

Ольга Ивановна, Попрыгунья, ищет великого человека, чтобы полюбить. Для Ольги Семеновны, Душечки, тот, кого она полюбила, – великий человек: любовь преображает ее, и тот, кого она любит, преображен для нее ее любовью. Душечка не просто повторяет чужие слова – она растворяется в жизни человека, которого любит, ради этой жизни отказывается от собственной. Чужие слова, которые она смешно и трогательно повторяет, – теперь ее слова, ее суждения; в стремительности и полноте, с которыми завладевают ею слова и суждения любимого человека, являет себя дар со-чувствия, талант человеческий. Любовь, пусть неосмысленная, но самоотверженная, любовь, в которой нет и малой капли ненавистного Чехову деспотизма, – разве этого мало для человеческого «я»? А конец рассказа?.. «Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь… За этого чужого ей мальчика… она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления». Эти строки, право, стоят толстовских слёз. И тут же следом: «Почему?» (То есть почему отдала бы жизнь за чужого мальчика?) «А кто ж его знает – почему?» Как прекрасно!..

«Я вижу некий свет…»

«Подвижники нужны, как солнце», – пишет Чехов в небольшой статье («короткий вопль», по собственному его выражению) о смерти путешественника Пржевальского. Подвижники возбуждают, утешают, облагораживают мир, постоянно напоминают нам, что кроме оптимистов и пессимистов, либералов и консерваторов, кроме тех, кто пишет от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, кто развратничает и лжет ради куска хлеба, есть еще люди веры и ясно осознанной цели.

Рассказы Чехова не о подвижниках, но прозрение человека невозможно без того, чтобы хоть краем, хоть легким дуновением не коснулась его благородная зараза.

Еще вчера учитель словесности радовался своему дому, дивану, супруге, лошадям, пустоши, деньгам в кармане; а сегодня: «Где я, боже мой?!»

«Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» – последняя, венчающая рассказ строка «Учителя словесности».

Путь долог и, может быть, безуспешен, но важно озарение, ясное осознание, что есть на свете благородные цели, подвижнические труды, счастливые лишения, что есть на свете иные люди, иная жизнь.

И Гуров с Анной Сергеевной, пленные птицы, верят все же, что освободятся от невыносимых пут; пусть на пороге новой, прекрасной жизни начинается самое сложное и трудное, но – начинается!

«Бросьте все и уезжайте, – говорит Катя заслуженному профессору Николаю Степановичу. – Поезжайте за границу». Он возражает: «Что за вздор! А университет?» Но не в загранице дело, не в университете! Николай Степанович уже в пути. Как поздно он отправился: до смерти всего полгода. И все же – какие новые миры ему открываются! Внутренняя жизнь собственная, и внутренняя жизнь людей вокруг, к которой он «беспечно» относился прежде, и судьбы, рядом с которыми «судьбы костного мозга» – такая малость.

Коврина в «Черном монахе» убивают не болезненные мечты и видения, а «здравая» мысль, что стремиться некуда, – человек должен быть доволен тем, что он есть.

«Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда», – советует доктор Рагин больному Громову, заточенному в палате № 6. Сам он поначалу убежден, что бежать некуда и незачем. Когда же пробуждается и укореняется в нем эта неосознанная потребность, и он оказывается узником страшной палаты.

Городок, что в двухстах верстах от железной дороги, нипочем не желает выпустить человека из заколдованного круга (как, впрочем, и всякий иной «городок» или «город» на белом свете), но бегство доктора состоялось: в безысходной тюрьме, за серым забором с гвоздями, он впервые обретает понятие о боли, и не о своей только, но о той, какую годами, изо дня в день испытывают люди вокруг. И чудесное видение, дарованное доктору Рагину в последнее мгновение жизни, – стадо прекрасных оленей, о которых он читал

накануне, – непременно из книги о людях глубокой веры и ясной цели, нужных миру, как солнце.

«Куда бы я мог увести ее? – сетует Алехин, отказываясь от любви. – Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником…» Но иная жизнь не житейские обстоятельства, это освобождение от духовного и душевного рабства, от привычного видения и ощущения мира.

Герой рассказа «Случай из практики», напечатанного тремя месяцами позже, чем «О любви», на тот же вопрос: «Куда?» – отвечает: «Куда?.. Да куда угодно… Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку».

Ответ на вопрос надо искать не на бытовом, не на житейском уровне, а на уровне иных задач и поступков.

Надя («Невеста») в порыве, почти внезапном, бросает родной дом, город, садится в поезд, ей перехватывает дыхание радость воли: «это все равно что когда-то очень давно называлось уходить в казачество».

«Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится», – говорит Наде ее старший друг Саша.

Тема бегства в русской литературе, идея бегства, постоянно возникающая в русской жизни, потребность уйти от своего настоящего, от себя нынешнего предполагает не перемещение в пространстве, а нравственное преображение.

Герой стихотворения Пушкина «Странник», «духовный труженик», видящий близкую гибель города-мира (окружающие этого не замечают и не желают замечать), встречает некоего юношу, читающего книгу. «Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?» – спрашивает юноша.

И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»

Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь?» —

Сказал мне юноша, даль указуя перстом.

Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,

Как от бельма врачом избавленный слепец.

«Я вижу некий свет», – сказал я наконец.

Не в том беда, что бежать некуда, увести некуда, а в том, что очи еще не отверсты, еще не коснулся их некий свет…

В. Порудоминский

Шуточка

Ясный зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу… Вот-вот еще мгновение, и кажется – мы погибнем!

– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит… Я помогаю ей подняться.

– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость…

– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня.

– Что? – спрашиваю я.

– Давайте еще раз… прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрашный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

– Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я.

– А мне… мне нравится это катанье, – говорит она, краснея. – Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

– Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает… Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.». И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток, и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

– Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются всё те же двое: я и ветер… Кто из двух признаётся ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня… Затем она робко идет вверх по лесенке… Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места… «Жжжж…» – жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю… Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать…

Но вот наступает весенний месяц март… Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург – надолго, должно быть навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями… Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным-грустным, по щеке ползет слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться…

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла – это все равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…

1986

Скучная история

(Из записок старого человека)

I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник[1 - Тайный советник – один из высших гражданских чинов, гражданский чин 3-го класса.] и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по

крайней мере за последние двадцать пять – тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов[2 - Пирого?в Николай Иванович (1810–1881) – русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии.], Кавелин[3 - Каве?лин Константин Дмитриевич (1818–1885) – русский историк и публицист.] и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей… Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic’ом[4 - Тик – нервная болезнь, выражающаяся в непроизвольных подергиваниях частей тела.]. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве когда бываю я болен tic’ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность

изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка»[5 - Роман немецкого писателя Ф. Шпильгагена (1829–1911).]. Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкап, или неожиданно загудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью – значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А

потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса…

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

– Извини, я на минутку… Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, после тревожных расспросов о моем здоровье, она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей – это главным образом и служит темою для нашего разговора.

– Конечно, это нам тяжело, – вздыхает жена, – но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое… Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признаёт опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки, – и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, – неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку – нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

– Что ж это я сижу? – говорит она, поднимаясь. – Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

– Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованье прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев – пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

– Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

– Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

– Сливочный… фисташковый… лимонный…

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый… сливочный… лимонный…», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… Заложи все это, тебе нужны деньги…»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня Бог, – мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi»[6 - «История болезни» (лат.).]. Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг

папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:

– Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

– Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если

исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого… Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу[7 - Гру?бер Венцеслав Леопольдович (1814–1890) – профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии.], то мне, то Бабухину[8 - Бабу?хин Александр Иванович (1827 или 1835–1891) – русский гистолог и физиолог, профессор Московского университета.]. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и

теперь так же темна, как двадцать лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор[9 - Прозе?ктор – врач патолого-анатомического отделения при лечебном учреждении.] Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцать пять, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное – и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем – это ломовой конь или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

– Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев[10 - Ско?белев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – русский генерал.] умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

– Какой это Скобелев?

В другой раз – это было несколько раньше – я объявил, что умер профессор Перов[11 - П е р о в Василий Григорьевич (1833/34—1882) – русский живописец, профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества.]. Милейший Петр Игнатьевич спросил:

– А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом Патти[12 - Па?тти Аделина (1843–1919) – итальянская певица, неоднократно выступавшая в России.], напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы[13 - Геку?ба – жена троянского царя Приама, ставшая олицетворением беспредельной скорби и отчаяния (гр. миф.).] ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от

которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь… Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

– Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное «в прошлой

лекции мы остановились на…», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и – пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно кроме таланта иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям… Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря… Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес[14 - Геркулес – латинское имя героя греческой мифологии Геракла.] после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится… Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, – это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но, пусть судит меня Бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцати – тридцати лет назад, так и теперь, перед смертию, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающею слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь, в аудитории, будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Не легко переживать такие минуты.

II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

– Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: «Вы изволили справедливо заметить» или «Как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от

этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда наконец я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть по инерции.

Немного погодя – другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: «Проси». Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

– Садитесь, – говорю я гостю. – Что скажете?

– Извините, профессор, за беспокойство… – начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. – Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не… Я держал у вас экзамен уже пять раз и… и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне «удовлетворительно», потому что…

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

– Извините, мой друг, – говорю я гостю, – поставить вам «удовлетворительно» я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

– По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это – совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается

выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

– Простите, профессор, – усмехается он, – но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг… уйти!

– Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

– Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

– Когда? – глухо спрашивает лентяй.

– Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

– Конечно, – говорю я, – вы не станете ученее оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежанья на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

– Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне «удовлетворительно», то я…

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

– В таком случае прощайте… Извините.

– Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого чёрта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

– Очень рад быть полезным, коллега, – говорю я, – но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе…

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

– Что вы все ко мне ходите, не понимаю? – кричу я сердито. – Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.

– У меня не лавочка! – сержусь я. – И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос…

Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ, окулист, и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это – необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

– Студенты дерутся в университете? – спрашивает она.

– Дерутся, милая.

– А вы ставите их на колени?

– Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть – и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хороню одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было четырнадцать – пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

– Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

– Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров: можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса

плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать – сорок лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакан чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через пятьдесят – сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы – лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры – миссионеры.

Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, – и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр не иначе как на паях и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества… Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для

дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль…» и так далее, все в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее он принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда,

по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей… Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе

немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

– Прощайте, – говорит Катя. – Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

– А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

– Не нужно, Катя.

– Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

– У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно…

– Мама! – говорит ей укоризненно Лиза. – Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

– Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутораста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины, – ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они несвободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в Средние века. И по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита[15 - Лафи?т – сорт вина.], портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса[16 - Зулу?с, зу?лу – представитель одного из народов Южно-Африканской Республики.]. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки…

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был

временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится… Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» – и все в таком же роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и немудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно… Неужели? Скажите…» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня vorte excellence[17 - Ваше превосходительство (фр.).].

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно

что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

– Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, – начинает она. – Я насчет Лизы… Отчего ты не обратишь внимания?

– То есть?

– Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным… Гнеккер имеет насчет Лизы намерения… Что ты скажешь?

– Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

– Но так нельзя… нельзя…

Она встает и ходит в волнении.

– Так нельзя относиться к серьезному шагу… – говорит она. – Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится… Хорошо… Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии… Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей… Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь.

Он из хорошего семейства и богатый.

– Откуда тебе это известно?

– Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

– Зачем?

– Ты разузнаешь там… У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу…

– Не поеду я в Харьков, – говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

– Ради бога, Николай Степаныч! – умоляет она меня, всхлипывая. – Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

– Хорошо, Варя, – говорю я ласково. – Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь… Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слёз, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то

невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

– А ты все лежишь, – говорю я, помолчав немного и отдохнув. – Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

– А?

– Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

– Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

– Ну что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

– Замуж бы выходила, – говорю я полушутя.

– Не за кого. Да и незачем.

– Так жить нельзя.

– Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

– Это, Катя, некрасиво.

– Что некрасиво?

– Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

– Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

– Вот… Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там, дома, вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

– Плохо дело, моя милая! – начинаю я со вздохом. – Очень плохо…

– Что такое?

– Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей – это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам, – в голове моей день и ночь бродят

злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, – то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными…

– Болезнь тут ни при чем, – перебивает меня Катя. – Просто у вас открылись глаза, вот и всё. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

– Ты говоришь нелепости.

– Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

– Ничтожества! – повторяет она. – Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

– Катя, – говорю я строго, – прошу тебя замолчать.

– А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой, бросьте все и уезжайте. Поезжайте за

границу. Чем скорее, тем лучше.

– Что за вздор! А университет?

– И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплоатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

– Боже мой, как ты резка! – ужасаюсь я. – Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости – воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

– Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду… – рассказываю я. – Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки… Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины – одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства, – бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

– Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ, филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

– Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчливы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

– Ох, господи… – вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. – Бывают же на свете такие комики!

– А что? – спрашивает Катя.

– Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN… Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня – теперь погиб, пропало дело…

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

– Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как эта наша alma mater[18 - Мать-кормилица, здесь: университет (лат.).], не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю… Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.

И тотчас же резкий переход:

– Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками – просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа… Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц. А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое…

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя

полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

– Наука, слава богу, отжила свой век, – говорит Михаил Федорович с расстановкой. – Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

– И мухи не знают науки, – говорю я, – но что же из этого?

– Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами… Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесл. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

– Измельчала нынче наша публика… – вздыхает Михаил Федорович. – Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколенье».

– Да, ужасно измельчали, – соглашается Катя. – Скажите, в последние пять – десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

– Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

– Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров… Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями…

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах[19 - Жу?пел – нечто внушающее страх, отвращение; то, чем пугают.], как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможною определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я старик, служу уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше как вчера мой товарищ, гигиенист, жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует

их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д…

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчливое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, переходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

– Уморительные попадаются субъекты, – говорит Михаил Федорович. – Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза, из ваших же медиков, третьего курса кажется. Лицо этакое… в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, – говорю, – молодой человек. Читал я, – говорю, – что какой-то немец – забыл его фамилию – добыл из человеческого мозга новый алкалоид – идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то намедни прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой, лохматый – медик. Медик пьян как сапожник. На сцену – ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» – «Благородно, – отвечает «из насих». – «Брраво! – орет медик. – Бла-а-родно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями – похоже на то, как будто она играет на гармонике, – и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

– Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

– А я еще посижу немножко, – говорит Михаил Федорович. – Позволяете, Екатерина Владимировна?

– Позволяю, – отвечает Катя.

– Bene[20 - Хорошо (лат.).]. В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и, пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

– В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

– Да, болен немножко.

– И не лечится… – угрюмо вставляет Катя.

– Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, Бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня,

отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия»… И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, ярки, поразительны… Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне неглубоко, но тотчас же я думаю: «Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом – бессонница…

IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:

– Пойдемте, ваше превосходительство. Готово. Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять – пятнадцать лет, – ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или, наконец, – талантливо, умно, но не благородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности… Один хочет быть в своих произведениях непременно

мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Все это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее – все это для меня непонятно, страшно, и все это не похоже на скромность и джентльменский покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic[21 - Так (лат.). Это слово указывает на желание автора привлечь внимание к данному месту в тексте.] в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружной суд; в антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, ultima ratio[22 - Последний довод (лат.).]! Такие отношения неминуемо должны отражаться на

нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние десять – пятнадцать лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше, за палисадником, дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

– Что скажешь? – спрашиваю я, выходя к нему в сени.

– Ваше превосходительство! – говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. – Ваше превосходительство! Накажи меня Бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус[23 - Искаженное начало старинного студенческого гимна: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus! – «Будем веселиться, пока молоды!» (лат.).]!

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

– Все у нас там благополучно? – спрашиваю я его.

– Ваше превосходительство! Как перед истинным…

Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно

рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой – немец – уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий – тоже немец – перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею… Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди…». Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит…

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «Очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:

– Ослы ваши немцы…

Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,

Но курам никогда до облак не подняться![24 - Из басни И. А. Крылова «Орел и куры».]

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик – что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, – подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

– Хорошо, съезжу… – соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:

– Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя… Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная,

образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе… К тому же у нее такая репутация, что…

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

– Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор…

– Оставьте меня! – кричу я. – Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера…

Часто я спрашиваю ее:

– Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

– Там увидим, – отвечает она.

– Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.

– Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

– Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, – говорит она. – Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

– Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

– Да, – отвечаю я.

– Гм… Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи, терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Тайный советник – один из высших гражданских чинов, гражданский чин 3-го класса.

2

Пирого?в Николай Иванович (1810–1881) – русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии.

3

Каве?лин Константин Дмитриевич (1818–1885) – русский историк и публицист.

4

Тик – нервная болезнь, выражающаяся в непроизвольных подергиваниях частей тела.

5

Роман немецкого писателя Ф. Шпильгагена (1829–1911).

6

«История болезни» (лат.).

7

Гру?бер Венцеслав Леопольдович (1814–1890) – профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии.

8

Бабу?хин Александр Иванович (1827 или 1835–1891) – русский гистолог и физиолог, профессор Московского университета.

9

Прозе?ктор – врач патолого-анатомического отделения при лечебном учреждении.

10

Ско?белев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – русский генерал.

11

П е р о в Василий Григорьевич (1833/34—1882) – русский живописец, профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

12

Па?тти Аделина (1843–1919) – итальянская певица, неоднократно выступавшая в России.

13

Геку?ба – жена троянского царя Приама, ставшая олицетворением беспредельной скорби и отчаяния (гр. миф.).

14

Геркулес – латинское имя героя греческой мифологии Геракла.

15

Лафи?т – сорт вина.

16

Зулу?с, зу?лу – представитель одного из народов Южно-Африканской Республики.

17

Ваше превосходительство (фр.).

18

Мать-кормилица, здесь: университет (лат.).

19

Жу?пел – нечто внушающее страх, отвращение; то, чем пугают.

20

Хорошо (лат.).

21

Так (лат.). Это слово указывает на желание автора привлечь внимание к данному месту в тексте.

22

Последний довод (лат.).

23

Искаженное начало старинного студенческого гимна: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus! – «Будем веселиться, пока молоды!» (лат.).

24

Из басни И. А. Крылова «Орел и куры».

Купить: https://tellnovel.me/anton-chehov/rasskazy-i-povesti

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити